

Светлана МИХЕЕВА

В ОЖИДАНИИ ГЕНИЯ

Борис Кутенков. Критик за правым плечом. Избранные заметки о классиках, современниках, литературном быте. – М.: Синяя гора, 2025. – 220 с.

Книги подобного рода всегда – авторский риск. В каком-то смысле отчаянный, в хороших образцах – рассчитанный. Дневниковые записи сродни мемуарам, и за них автору приходится отвечать и собственной репутацией уже только потому, что решился их издать. В эпоху соцсетей и мессенджеров, открытых любому ветру, в чем вообще смысл такой траты сил и бумаги, если не подчеркнуть собственную значимость?

Все не так просто с дневниками. Есть, конечно, и пустяковые. А есть интересные, помогающие понять, не откладывая на долгий срок, явления сегодняшнего дня. Это касается в первую очередь записей, условно говоря, профессиональных, затрагивающих какую-либо область знания или творчества. Автор нашей книги – критик, поэт, культуртрегер – заявил свое собрание заметок из телеграм-канала как книгу о классиках, современниках и литературном быте.

Новые особенности коммуникации, обязывающие быть на виду, тем парадоксально лишаящие частное слово веса, а личность – прав на закрытость, стали социальной проблемой, что находит отражение и в этой книге. Недаром автор прямо рассуждает об идеале амбиверта – человека, который легко встраивается в ситуацию коммуникации и так же легко из нее выходит. Быструю перезагрузку автор дневника считает очевидно полезной привычкой. Кажется, запрос на более личный, эффективный контакт задан публикацией этого дневника на бумаге.

Книга, о которой идет речь, может вызвать раздражение, будучи в достаточной степени эгоцентричной – но отчасти этого требует жанр. Не открыв собственных пристрастий и принципов, слабостей и желаний, автор лишил бы нас отправной точки, фактически – героя, с которым мы соглашаемся или с которым спорим. Да, местами книга кажется затянутой, иногда – кокетливой. Но противоречие между интимностью дневника и желанием нравиться читателю не переходит допустимую границу и не рискует гораздо большим и ценным, что в ней есть, – умением ставить проблему, формулировать неудобные вопросы в ее пределах, смелостью выразить на их счет собственное мнение. Мы здесь не увидим ни воинственной аполитичности, ни грубых политических инвектив. Все сложные темы – в режиме личного размышления обо всем, что касается круга интересов: замечания о литературном сообществе, интроспективные заметки о прочтении старых книг, горячие рассуждения о самоопределении молодых авторов, их ожиданиях – в том числе о себе как о поэте. И, конечно, о том, как и с чем работает критика – позиция критика как некая направляющая заявлена уже в названии. В общем и целом, речь – об искусстве, уточняя – о художественной ценности как таковой.

В давней статье «Назад – к Орфею» («Новый мир», № 3 за 1988 год) критик Ирина Роднянская жестко констатирует дефицит романтического фатализма в служении Музе у поэтов целого поколения – восьмидесятых. Мне показалось любопытным, что наша книга-дневник представляет собой своеобразное свидетельство того, что такой романтизм служения все же не исчез. Более того, хотя литераторы сегодняшнего времени и достаточно прагматичны, у них есть запрос на большее – высокопарно выражаясь, их душа требует некой высшей цели. И этот градус в книге не просто заметен, но высок. Кем быть – «юродивым проповедником» или же медийным персонажем? – задается вопросом автор, и, очевидно, не только от своего собственно лица, но, возможно, и от лица поколения.

Об этой романтической нагруженности свидетельствуют и замечания относительно литературного, поэтического «мессианства», слышанные мною раньше лишь от писателей старшего поколения и вдруг высказанные здесь: «Нельзя отрицать, что явится талантливый автор и перевернёт “систему”». Ожидание гения, который должен предложить что-то принципиально новое и тем спасти ситуацию (и литературный мир), кажется больше психологическим буфером или разрядкой, чем объективной необходимостью. Можно спорить об этом, однако живучесть мифологемы о «поэте-спасителе» раскрывает внутреннюю неудовлетворенность самого

сообщества. «Нет, ты не Пушкин. Но покуда / Не видно солнца ниоткуда...» – эти некрасовские строки в определенных обстоятельствах приобретают даже иронический оттенок.

Во многом ожидание поэта, который «перевернет систему», связано в этих размышлениях с двумя моментами. Первый – сама система, которая, как дает понять автор, находится в стагнации и ситуативной неопределенности. А второй (связанный, конечно, с первым в сложной комбинации) – с требованием *служения* в том смысле, который имела в виду Роднянская. Именно со служением, а не с жадной некой формальной, иллюзорной, условной новизны – ибо что она вообще такое?

Поэтому-то здесь, в книге, неоднократно и звучит терзающий вопрос: как разглядеть, не пропустить гения? Кутенков замечает при этом, что понимание гения, который все изменит, разное – в том числе и у разных поколений. Но именно порыв служения Музе и определяет его, этого самого «гения», как некую идеальную фигуру – именно это победительное свойство имеет решающее значение в направлении внутреннего, личного диалога конкретно в этих дневниках. Полагаю, что авторский запрос напрямую связан не только с иерархией (канон) в литературе – это, в большей степени, формальность. Но главное здесь все же попытка самоопределиться в лучшем – пусть и относительно мифологической идеальной фигуры: на кого равняться? Бескорыстие – то, о чем мы все давно грустим.

Кутенков то штурмует высоты, толково размышляя о классиках и тенденциях большой литературы – с азартом личного пристрастия, местами – спорно (соображения о личных пристрастиях в книге проговорены, автор никого не вводит в заблуждение, не настаивает на своей точке зрения как на единственно возможной), то шокирует, рассуждая о «низком» продукте: «Стихи берут за душу непритязательную публику, будучи предсказуемыми в каждом моменте, – и, что скрывать, даже меня кое-где эмоционально цепляли, как может зацепить попсовая песня». Высоколобых товарищей, конечно, удивят и признания в нежных чувствах к ранним продуктам детективщицы Марининой. Но вопрос взаимовлияния массовой и высокой литературы неизбежен (в том числе и на примере их столкновения в биографии одного, конкретного литератора). И вопрос этот совершенно не трагичен, как может показаться, – но его актуальность возросла вместе с возросшими тиражами печатного масскульта. Как человек, прекрасно знающий свой предмет, Кутенков не только может, но даже обязан считаться с этим, анализируя влияние в том числе и на личном примере, с позиции личного пристрастия.

При этом острота вопроса о пристрастности и беспристрастности возникает в книге то и дело – и относительно каких-то имен в литературе, и явлений, и конкретной ситуации авторского выбора: всегда ли я объективен и всегда ли *должен* стремиться к объективности? Для автора, особенно для критика, важно само понимание объективности как явления и подхода – насколько она вообще возможна и насколько равна беспристрастности?

Думаю, что сегодня все заинтересованные в литературе в какой-то мере стоят перед выбором выбора, простите за тавтологию. Под лупой мы особенно внимательно рассматриваем сегодня именно свою способность подойти беспристрастно к тому, что по тем или иным причинам исключается из литпроцесса, приобретает дополнительное звучание, актуализирует скрытые смыслы. Все стало неверным, зыбким, потерявшим берега – нужны новые точки опоры и, возможно, отсчета, ведь как быть в ситуации, когда, говоря словами автора книги, «всю нашу критериальность растёрли и выбросили»? «Сейчас всё меньше надежды, что вменяемые культуртрегеры сойдутся на отнесении определённых имён к какой-либо из перечисленных категорий; всё меньше её в силу отсутствия полемики и предельного разобшения (усиленного, естественно, политизацией литературного поля)» – сказано несколько обреченно, но, по существу, верно. И неважно, о каких именах и категориях идет речь, главное здесь – «в силу отсутствия полемики и предельного разобшения». Есть ли шанс на какой-то общий язык? Вопрос открыт.

Кутенков, как представитель молодого поколения, предъявляет и естественный счет младших поколений старшим: они не оправдали своего старшинства, на них лежит вина за разрушение иерархичности, от которой традиционно отталкиваются новые поколения авторов.

Но, задаваясь вопросом: «Не выдуманная ли она <иерархия> по своей сути?», – автор констатирует, что и новое поколение уже само может что-то диктовать и «выстраивать свои институты», вопреки старшему, которое не хочет брать потомков в расчет. Во многом здесь

слышится и общее возмущение младшего поколения – на минуточку, почти любого нового поколения, вынужденного штурмовать редакции толстых журналов, спорить с редакторами, что-то доказывать старшим. Весьма симптоматичным кажется мне обращение автора к редакторам (как, в определенном смысле, тоже старшим). И они предстают лицами, в литпроцессе незаинтересованными, с «дряхлыми понтами» и «старческим задором». И, да простят меня редакторы и вообще все «старшие», меня позиция автора этого дневника радует. Младшие поколения просто обязаны обладать юношеским гонором, который требует скидывать с парохода современности всё, что кажется отжившим: это лишь сигнал о здоровье поколения, о том, что младшие вполне энергичны и готовы к свершениям.

Более того, чувствуя изменения, озвучивая проблемы, младшие предлагают варианты решения. Они ощущают, что система не готова меняться изнутри им навстречу – так может, нам нужны не столько гении поэзии, сколько редакторы-гении, культуртрегеры-гении? Да, требуются качественные изменения – но не поэтому ли сегодня и появляются электронные журналы и проекты, которые дают более широкий взгляд на современную литературу. К таким проектам, кстати, сам автор имеет прямое отношение, о чем также неоднократно упоминает в книге.

Почему же в таком случае в этих организованных дневниковых записях местами прочитывается усталая безнадежность – если все течет естественно, если дело так или иначе движется в лучшую сторону? Потому, очевидно, что обострилось влияние на литературу и литературное сообщество некой общей угнетающей системы двойных стандартов и посланий.

Людей, сведущих в литературе, конечно, с толку не собьешь, они отличат искусство от культмассовой поделки. Просто сам факт легитимизации таких поделок – на любом уровне – болезненный удар для тех, кто *служит* возвышенному, Музе или литпроцессу, назовите как угодно. Но такие общественные эффекты – не новинка, конечно. Загляните хотя бы в статью «Борьба за право писать плохо» Бенедикта Сарнова от того же 1988 года – она отлично раскрывает тему, последовательно связывая ситуацию начала прошлого века с ситуацией, настигшей нас в его конце. Сегодня нас вновь лихорадит. «Сама исходная точка легитимации – искусственная; это принадлежность к дискурсу, первооснова которого вновь – соответствие “гражданской” позиции, а вовсе не близость текстов неким эстетическим установкам говорящих. Подмена понятий есть подмена понятий, которую вполне иллюстрируют антологии глубоко ненормального времени – причём и с той, и с другой стороны дискурса», – сетует Кутенков. И та и другая сторона дискурса – оппоненты не столько эстетические, сколько, увы, политические. Именно этот момент и тревожит – художественная ценность перестала быть причиной спора. Даже этику подменяют – снова, как бывало не однажды, – политикой. Называть вещи своими именами всегда было неудобно – но как тогда говорить об искусстве? Через неудобство, вопреки? Диагноз из дневника вполне объективен: «О современности пишут мало, а если пишут – то обтекаемо (это тенденция; причины, думаю, объяснять излишне)».

Совмещение человеческого и литературного, этического и эстетического кажется мне главной линией, относительно которой (специально ли, подспудно ли) собрана книга. И, конечно, вопрос личного отношения к происходящему выходит на передний план как позиция личного выбора: кем быть, как быть? Этот же вопрос зашит и в рассуждения о литературном сообществе: разъединение, раскол на группы, которые сегодня принципиально отказываются друг друга понимать – на основаниях внезапного отсутствия общих ценностей, спровоцированного внешними обстоятельствами. Но можно ли, в принципе, говорить о каком-либо единстве, если внешние обстоятельства так влиятельны?

Очевидно, что у истории есть кое-какие соображения на этот счет. Но когда добираемся наконец до авторского отчаянного признания: «Одиночество писателя в наши дни огромно» – все возможные ответы истории разбиваются о чужое личное переживание здесь и сейчас. В этом и состоит большая сила дневников – общее и частное в них становятся взаимодействующими сторонами, предлагая более достоверную и широкую картину происходящего. Тем более что требование соучастия, живого отклика («движение к отклику есть движение к (само)пониманию»), оказывается обращено даже и не столько к современнику – скорее, к анонимной силе, к нейтральному, к ноосфере как содержащему, а потому, возможно, благоволящему пространству («вытягивание» этого самопознания из пространства), которое о запросе «возможно, не знает и не делает встречных шагов». И вот вам, пожалуйста: проявляется то странное чувство невестребованности (при, казалось бы, реальной востребованности) – как общее выражение лица в

портрете молодого амбициозного человека. Обошелся бы без меня мир, нужно ли его взбаламучивать, затрагивать ли его «своим настойчивым существованием»? Все в свое время задаются этим вопросом, никогда, увы, не имеющим окончательного ответа.

Общее чувство «нестабильности мира», о котором говорит автор, опасаясь утратить в том числе «святую веру в предназначение», удачно разрешается в этом дневнике «неким идиотским идеализмом»: деятельностью без награды, к которой относится и сочинение стихов, и безденежное издание книг неизвестных поэтов, и прочее культуртрегерство. Делай что должен и будь что будет, как советовали стоики. И тогда при любой, самой сумасшедшей смене временных (и, конечно, временных) декораций, мы способны на большее – и видеть настоящее, и преодолевать искушенность. В конце концов, подлинная свобода – это внутренняя категория самоопознания. Дневники – свидетельство нашего стремления к ней.